

## СИМВОЛИЗМЪ, КАКЪ МІРОПОНИМАНІЕ.

### I.

Еще недавно думали — міръ изученъ. Всякая глубина исчезла съ горизонта. Простиралась великая плоскость. Не стало вѣчныхъ цѣнностей, открывавшихъ перспективы. Все обезцѣнилось. Не исчезло стремленіе къ дальнему въ сердцахъ. Захотѣлось перспективы. Опять запросило сердце вѣчныхъ цѣнностей.

Въ ту пору зіяющій провалъ разверзся между чувствомъ и разумомъ. Трагическій ужасъ разлада изъ глубинъ бессознательныхъ доросъ до поверхности сознанія. Безпринципный скептицизмъ явился слѣдствіемъ неумѣнія сохранить вѣчныя цѣнности при невозможности обходиться безъ нихъ. Философія Шопенгауэра носила черты отрицанія. Многихъ она привлекла тогда. По мѣрѣ того, какъ обнаруживался пессимизмъ, все большее облегченіе ощущалось въ откровенномъ признаніи всѣхъ ужасовъ бытія. Оказалось бытіе призрачнымъ. Глянула сквозь него черная тьма. Лихорадочную напряженность

смѣнило созерцательное бездѣйствіе. Русло жизни отхлынуло въ сторону. Съ ревомъ и грохотомъ мчалась по немъ колесница пошлости.

Была своеобразная цѣнность въ этомъ созерцаніи. Пессимизмъ, возведенный въ принципъ, притуплялъ жало разочарованій. Человѣкъ, отходившій отъ жизни, грустно задумывался, очарованный величіемъ собственнаго трагизма. Въ бездѣятельности собирались потраченные силы. Подавленная личность начинала расправлять свои крылья. Въ незамѣтной эволюціи отъ пассивности къ активности, отъ пессимизма къ трагизму звучалъ намъ первый трепеть, звучало первое біеніе этихъ крыль.

Когда убаюканный видѣніями засыпаетъ, это — видимость смерти. Это — подкрѣпляющій силы сонъ. Такимъ соннымъ забытьемъ, чреватымъ послѣдствіями, было увлеченіе европейскаго общества философскимъ пессимизмомъ. И вотъ когда мракъ закрылъ имъ глаза — этимъ увлеченнымъ — кто-то изъ нихъ выкрикнулъ странно прозвучавшія слова: „Время сократическаго человѣка прошло: увѣнчайте плющемъ чело ваше,

возьмите въ руки тирсы и не дивитесь, если тигръ и пантера, ластясь, лягутъ у вашихъ ногъ: ибо вы должны стать свободными. Вы должны сопровождать діонисіанское торжественное шествіе отъ Инда до Греціи. Вооружитесь на жестокую борьбу, но вѣрьте въ чудеса вашего Бога". (Происх. траг.). Необычайно раздались эти слова. Кто понялъ ихъ тогда? И однако, быть можетъ, съ этого момента стали носиться въ воздухѣ предчувствія будущихъ откровеній. Сталъ вѣтерокъ обдывать спящихъ. Тронулись неподвижно-манящія, сонно-сладкія грезы. Заря зажглась.

Пессимизмъ оказался горниломъ, сжигающимъ пошлость. Шопенгауэръ, различіемъ формъ познанія нагляднаго, созерцательнаго, интуитивнаго отъ познанія мыслящаго, отвлеченнаго и предпочтеніемъ, отданнымъ первой формѣ, не только обосновалъ въ противовѣсъ методу логическому методъ психологическій, но и предоставилъ возможность въ будущемъ придать все значеніе этому методу. Если философія всецѣло подчинена отвлеченному познанію, Шопенгауэръ послѣдній философъ. Въ Шопенгауэрѣ начало конца философіи. Былъ вскрытъ источникъ сверкающихъ сущностей, и поблѣднѣли воздушные замки мысли.

Сведеніе на нѣтъ вопросовъ философскихъ не указываетъ еще на побѣду научнаго позитивизма. Передъ нами не зданіе, увѣнчанное куполомъ, а только многоэтажныя стѣны безъ крыши, обезображенныя лѣсами.

Столбтія вѣрили въ возможность научно-философскаго рѣшенія вопросовъ бытія. Сколько титановъ воздвигало твердыню, чтобы взобраться на небо. Или времена борьбы между богами и титанами опять повторились?

Или опять они низвержены въ Тартаръ? Гдѣ оно — наше прошлое? Почему земля заколебалась подъ нами? Откуда эти невольныя слезы? Дорогія имена, дорогія заблужденія! Точно сидишь въ уютной хижинѣ рыбака передъ отправленіемъ въ путь. Море шумитъ. Вѣтеръ и ливень глаза слѣпятъ. Въ послѣдній разъ передъ старымъ рыбакомъ, въ послѣдній пожимаешь мозолистую руку. Уйдешь и не вернешься обратно. Въ путь пора.

Шопенгауэръ — вершина, на которую восходятъ, встающіе надъ сонностью жизни. Онъ — остріе, чрезъ которое перекрещиваются два направленія, огневѣющія вѣчной жизненностью. Скрещиваются, чтобы сейчасъ же разойтись опять. Это — философскій рационализмъ, переходящій въ религіозно-отвлеченный пантеизмъ, и эмпиризмъ, преобразенный въ индивидуализмъ мистически-пророческаго оттѣнка. Таковы оба направленія по ту сторону критицизма, на границѣ съ символизмомъ.

Ницше и Гартманъ прошли сквозь Шопенгауэра. Въ немъ соприкоснулись. И разошлись безвозвратно.

Изслѣдуя начало видимости (представленіе), Ницше ему противопоставляетъ оргіастическое начало, разрушающее иллюзію (волю). Сліяніе этихъ началъ въ трагизмъ уничтожаетъ шопенгауэровскую антиномію между волей и представленіемъ въ личномъ началѣ человѣка. Безсознательное по Гартману лежитъ глубоко въ природѣ человѣка. Оно никогда не ошибается. Въ немъ В. Соловьевъ видитъ узелъ между Богомъ и человекомъ. Въ Безсознательномъ мы тоже имѣемъ сліяніе метафизической воли съ міромъ явленій. Историческій процессъ по Гартману не безцѣленъ. Его цѣль — обнаруженіе всеединого духа.

Ницше выдвигаетъ дѣлю исторической эволюціи проявленіе всеединой личности, сверхъ-человѣка. Вопросъ же о проявленіи въ личности всеединого духа указываетъ исторіи путь къ богочеловѣчеству. Владиміръ Соловьевъ, опредѣляя церковь, какъ богочеловѣческую организацію, стремится къ примиренію между наукой, философией и религіей. Приблизительно подобны же задачи теософій, съ отдѣльными положеніями которой можно спорить. Съ общимъ русломъ ея приходится считаться, какъ съ вполне установившимся направлениемъ, недавно возрожденнымъ и пустившимъ корни.

Познаніе формально-логическое, описавъ кругъ, въ своемъ развитіи, дало свободу методу психологическому. Познаніе, основанное на методѣ психологическомъ есть познаніе геніальное по Шопенгауэру. Всѣдъ за кризисомъ мысли, искусство неизбѣжно должно было выступить на смѣну философіи, какъ руководящій маякъ челоѣчества.

Идея ступень объективациі воли. Воля—глубочайшее начало бытія. Если это то, что, открываясь въ глубинахъ духа, влечетъ къ звѣздному, — разрываетъ черныя пропасти духа, озаряетъ провалы лучезарнымъ, — если это—то, опредѣленіе глубочайшаго начала бытія, какъ воли, неудачно. Это нѣчто отличное отъ нашей воли, мерцающее въ ней по временамъ. Это въ волѣ воля. Смѣшеніемъ личной воли съ волей міра Шопенгауэръ несомнѣнно гипертрофировалъ личную волю. То, что въ волѣ приходитъ и уходитъ, озаряетъ и гаситъ—то сущность. То же, что оставаясь неозареннымъ извнѣ, угнетается стихійностью хаоса—не есть сущность. Это—граница видимости, отрицательное опредѣленіе сущности — личная воля.

Сверхличное родовое начало обуславливаетъ личность. Это міровое начало должно быть безусловнымъ началомъ. Какъ такое, оно объемлетъ формы познанія. Если общая форма познанія — распаденіе на субъектъ и объектъ, на представленіе и волю, то безусловное покрываетъ и волю и представленіе. Таково его формальное опредѣленіе. Таково Безсознательное Гартмана.

Идея—не понятіе. Какъ выступленіе безсознательнаго въ видимость, она упраздняетъ условное дѣленіе на объемъ и содержаніе. Съ увеличеніемъ объема понятія уменьшалось его формальное содержаніе. Въ идеѣ этого нѣтъ. Опредѣляемая отъ противнаго, идея измѣняетъ обратное отношеніе между объемомъ и содержаніемъ въ прямое. Идея—ограниченіе безусловнаго. Если безусловное носитъ характеръ единства, то выступленіе его въ видимость ограничено множественностью ступеней. Отсюда множественность идей. Возможно говорить о родовыхъ и видовыхъ идеяхъ. Родовыя идеи интенсивнѣе видовыхъ. Съ устраненіемъ противоположности между объемомъ и содержаніемъ родовыя идеи различимы отъ видовыхъ степенью интенсивности. Интенсивность эта выражается степенью вліянія ихъ на насъ.

Для познанія идей необходимо представленіе. Если время есть форма, систематизирующая представленія о внутреннихъ чувствахъ, то созерцаніе временныхъ идей интенсивнѣе вліяетъ на нашу душу. Можно поэтому условно говорить о большей интенсивности временныхъ идей. Временныя идеи поэтому суть родовыя относительно пространственныхъ. Содержаніе искусства — познаніе идей. Временныя формы искусствъ даютъ существеннѣйшее познаніе. Вотъ

почему музыкальныя идеи—существенныя символы.

Это идеи родовыя сравнительно съ идеями прочихъ искусствъ. Вотъ почему можно говорить о музыкальности образовъ, а не обратно. Образная музыка ничего не прибавитъ къ выражаемымъ образамъ. Вотъ почему можно говорить о музыкальномъ корнѣ всѣхъ искусствъ. Нельзя говорить о живописномъ корнѣ искусствъ. Можно говорить о духѣ музыки въ скульптурѣ, а не обратно. Въ музыкѣ наибольшее приближеніе глубинъ духа къ поверхностямъ сознанія.

Не событіями захвачено все существо человѣка, а символами иного. Музыка идеально выражаетъ символъ. Символъ поэтому всегда музыкаленъ. Перевалъ отъ критицизма къ символизму неминуемо сопровождается пробужденіемъ духа музыки. Духъ музыки показатель перевала сознанія. Не къ драмѣ, ко всей культурѣ обращенъ возгласъ Ницше: „Увѣнчайте плющемъ чело ваше, возьмите въ руки тирсы и не дивитесь, если тигры и пантеры, лапаясь, лягутъ у вашихъ ногъ... Вы должны сопровождать діонисіанское торжественное шествіе отъ Инда“... Современное человѣчество взволновано приближеніемъ внутренней музыки къ поверхности сознанія. Оно захвачено не событіемъ, а символомъ иного. Пока и н о е не воплотится, не прояснятся волнующіе насъ символы современнаго творчества. Только близорукіе въ вопросахъ духа ищутъ ясности въ символахъ. Душа не звучитъ ихъ—не узнаютъ они ничего.

Къ тому, что было прежде временъ, къ тому, что будетъ, обращенъ символъ. Изъ символа брызжетъ музыка.

Она минуется сознаніе. Кто не музыкаленъ, тотъ ничего не пойметъ.

Символь пробуждаетъ музыку души. Когда міръ придетъ въ нашу душу, всегда она зазвучитъ. Когда душа станетъ міромъ, она будетъ внѣ міра. Если возможно вліяніе на разстояніи, если возможна магія, мы знаемъ, что ведетъ къ ней. Усилившееся до непомѣрнаго музыкальное звучаніе души,—вотъ магія. Чаруетъ душа, музыкально настроенная. Въ музыкѣ чары. Музыка окно, изъ котораго льютъ въ насъ очаровательныя потоки вѣчности и брызжетъ магія.

Искусство есть геніальное познаніе. Геніальное познаніе расширяетъ его формы. Въ символизмѣ, какъ методѣ, соединяющемъ вѣчное съ его пространственными и временными проявленіями встрѣчаемся съ познаніемъ Платоновыхъ идей. Искусство должно выражать идеи. Всякое искусство по существу символично. Всякое символическое познаніе идейно. Задача искусства, какъ особаго рода познанія, неизмѣнна во всѣ времена. Мѣняются способы выраженія. Развитіе философскаго познанія доказательствомъ отъ противнаго ставитъ его въ зависимость отъ познанія откровеніемъ, познанія символическаго. Съ измѣненіемъ теоріи познанія мѣняется отношеніе къ искусству. Оно ужъ больше не самодовлѣющая форма; оно и не можетъ быть призвано на подмогу утилитаризму. Оно становится путемъ къ наиболѣе существенному познанію — познанію религіозному. Религія есть система послѣдовательно развертываемыхъ символовъ. Таково ея первоначальное, внѣшнее опредѣленіе. Совершающемуся перевалу въ сознаніи соотвѣтствуетъ измѣненіе способа выраженія символовъ

искусства. Важно бросить взгляд на характеръ этого измѣненія.

Характерной чертой классическаго искусства является гармонія формы. Эта гармонія накладываетъ печать сдержанности въ выраженіи прозрѣній. Гёте и Ницше часто объ одномъ. Гдѣ первый какъ бы случайно приподымаетъ уголышекъ завѣсы, обнаруживъ глубину, второй старается выбросить глубину на поверхность, усиленно подчеркивая ея феноменальное обнаруженіе. Геніальныя классическія произведенія имѣютъ двѣ стороны: лицевую, въ которой дается его доступная форма, и внутреннюю; о послѣдней существуютъ лишь намеки, понятныя избраннымъ. Толпа, довольная понятнымъ для нея феноменализмомъ событій, рисовки, психологіи, не подозрѣваетъ внутреннихъ чертъ, которыя служатъ фономъ описываемыхъ явленій; эти черты доступны немногимъ. Таковъ аристократизмъ лучшихъ образцовъ классическаго искусства, спасающагося подъ личиной обыденности отъ вторженія толпы въ его сокровенныя глубины. Такіе образцы суть источники и глубины, и плоскости одновременно. Здѣсь удовлетворяется и масса, и избранные. Такая двойственность неизбежно вытекаетъ изъ самой двойственности критицизма; она образуется также отъ нежеланія геніевъ, чтобы ихъ символы служили предметомъ догматическихъ кривотолковъ рационализма, утилитаризма и т. д. Здѣсь и презрѣніе къ „малымъ симъ“, и аристократическая иронія надъ слѣпыми, которые хотя и не видятъ, но хвалятъ, и кокетство передъ избранниками духа. „Фаустъ“ понятенъ всѣмъ. Всѣ единогласно называютъ „Фауста“ геніальнымъ произведеніемъ искусства; между тѣмъ теософскія бездны „Фауста“

часто скрыты отъ современныхъ любителей всевозможныхъ безднъ — поклонниковъ новаго искусства. И однако эти поклонники понимаютъ вторженіе безднъ въ Заратустрѣ, ломающее внѣшнія очертанія образовъ и отчетливость мысли. Въ этомъ отношеніи новое искусство, являясь посредникомъ между глубиннымъ пониманіемъ немногихъ и плоскимъ пониманіемъ толпы, скорѣе демократично. Задача новаго искусства не въ гармоніи формъ, а въ наглядномъ уясненіи глубинъ духа, вслѣдствіи чего оно кричитъ, заявляетъ, приглашаетъ задуматься тамъ, гдѣ классическое искусство повертывало спину „малымъ симъ“. Такое измѣненіе способа выраженія стоитъ въ связи съ измѣненіемъ теоріи познанія, согласно которому познаніе во временномъ вѣчнаго перестаетъ казаться невозможнымъ. Если это такъ, искусство должно учить видѣть Вѣчное; сорвана, разбита безукоризненная, окаменѣлая маска классическаго искусства. По линиямъ разлома выползаютъ отовсюду глубинныя созерцанія, насыщаютъ образы, ломаютъ ихъ, такъ какъ признана относительность образовъ. Образы превращаются въ методъ познанія, а не въ нѣчто самодовлѣющее. Назначеніе ихъ не вызвать чувство красоты, а развить способность самому видѣть въ явленіяхъ жизни ихъ прообразовательный смыслъ. Какъ скоро эта цѣль достигнута, эти образы уже не имѣютъ никакого значенія; отсюда понятенъ демократическій смыслъ новаго искусства, которому несомнѣнно принадлежитъ близкое будущее. Но когда это будущее станетъ настоящимъ, искусство, приготовивъ человечество къ тому, что за нимъ, должно исчезнуть. Новое искусство

менѣе искусство. Оно — знаменіе, предтеча.

Измѣненіе способа выраженія искусства совершается постепенно. Современное искусство при такомъ измѣненіи часто шло ощупью. Многіе спотыкались на этомъ пути. Артезіанскія воды, пробиваясь наружу, бьютъ грязью. Только потомъ солнце зажигаетъ чистоту воднаго хрусталя миллионами рубиновъ. Не слѣдуетъ быть жестокимъ по отношенію къ тѣмъ, кто шелъ впереди. Вѣдь по ихъ израненнымъ тѣламъ мы идемъ. Благодареніе и жалость! Да замолчитъ всякая хула! Вѣдь Ницше между ними. А то какъ бы наша рука, занесенная надъ страдальцемъ, не опустилась машинально, когда мертвенно-блѣдная, терніемъ увѣнчан-

ная голова, съ нависшими усами, съ грозой въ челѣ—вся озаренная—вдругъ закиваетъ укоризненно горько — какъ бы эта голова не открыла глубокія очи, чтобы пронзить яснымъ взоромъ обезумѣвшую душу! Какъ бы не сожгла насъ багряница „Діониса распятаго“, какъ бы не растерзали ластиющіяся къ нему пантеры.

Слѣдуетъ доврчиво взглянуть на покойника, чтобы пантеры превратились въ кроткихъ кошекъ. А образъ его такъ задумчиво грустно взираетъ на насъ изъ безсмертныхъ далей. О дѣтскомъ счастіи говоритъ намъ его, дѣтскій взоръ — о бѣломъ островѣ дѣтей, омытомъ лазурью.

Тише! Это — священная могила.



## II.

Бриллиантовые узоры созвѣздій неподвижны въ черномъ, міровомъ бреду, гдѣ все несетя и гдѣ нѣтъ ничего, что есть. Земля кружится вокругъ солнца, мчащагося къ созвѣздію Геркулеса? А куда мчится созвѣздіе Геркулеса? — Сумасшедшая пляска бездоннаго міра.

Куда мы летимъ? Какія пространства пересѣчемъ, улетаая! Летя, улетимъ ли? Кто полетитъ намъ навстрѣчу?

И то тутъ, то тамъ, подтверждая странныя мысли, золотыя точки зажигаются въ небесахъ; зажигаются — сгораютъ въ эфирно-воздушныхъ складкахъ земной фаты. Зажигаются, тухнутъ — и летятъ, и летятъ прочь отъ земли сквозь бездонныя страны небытія чтобы снова черезъ миллионы лѣтъ

загорѣться. Хочется крикнуть минутнымъ знакомымъ: „Здравствуйте!.. Куда летите?.. Поклонитесь Вѣчности!..“. Все это совершается въ недосыгаемыхъ высяхъ. Скользнувшая въ небѣ искра не оборветъ нити разговора. Невольный вздохъ, можетъ быть, вырвавшійся изъ груди—онъ одинъ обнаружитъ, что душа не забыла, во что погружены картонныя плоскости бытія.

Но когда молнія сверкнетъ на безоблачномъ небѣ и надъ головой ужаснувшихся повиснетъ яркая, пунцовая звѣзда, озаривъ огненнымъ бредомъ поблѣднѣвшихъ, и потомъ тихо скользнетъ въ сторону, разсыпая брызги искръ, общій крикъ: „Метеоръ!.. Такъ низко!..“ оборветъ всѣ нити разговора. Всѣ чувствуютъ, что слишкомъ близко совершилось вторженіе Вѣчности, слишкомъ ничтожны предъ нею наши устои, способные лишь до времени укрыть глубину... Разговоръ возобновится, но всѣ станутъ задумчивѣй.

Ницше былъ такимъ метеоромъ. Онъ принесъ глубину изъ безсмертныхъ далей. И хотя дружная брань еще не умолкла надъ ушедшимъ въ Вѣчность—мы всѣ послѣ него какъ то серьезнѣе. Нѣтъ въ насъ прежней близорукой наивности. Вѣдь если сегодня такъ близко отъ насъ промчался зарядъ вѣчнаго огня, ничто не предохранитъ насъ отъ вѣчныхъ опасностей. Какая-то неизгладимая, новая черта осталась у людей послѣ мудраго Ницше.

Мудрость—лазейка изъ „голубой тюрмы“ трехъ измѣреній. Человѣкъ вырастаетъ до міра и уже стучится къ безмірному. Здѣсь открывается, что мысль, нагроможденная зарядомъ доказательствъ и высказанная до конца, напоминаетъ толстую жабу. Мудреца повлечетъ за иными мыслями—прозрѣвающими.

Порхающихъ ласточекъ онъ предпочтетъ умнымъ жабамъ. Онъ знаетъ, что если ласточки и утонутъ въ лазури, то жабы приведутъ его къ болоту. Лучше онъ замечается о голубомъ, нежели о болотномъ. Мудрецъ—это самый тонкій безумецъ, счастливый весельчакъ, серьезный и важный для тѣхъ, кто не въ состояніи совмѣстить мудрость съ легкомысліемъ. Вотъ онъ застываетъ въ гіератической позѣ. Мудрецъ разсѣянъ, но не отъ мысли. Онъ мыслить свободно. Его мысль порхаетъ. Это—музыка. Лишь для избранныхъ спадаетъ съ мудреца шелковая завѣса равнодушія. Выраженіе жгучаго могущества и сверхчеловѣческой нѣжности, какъ зарница, трепещетъ на засіявшемъ лицѣ. И потомъ вновь это лицо окаменѣваетъ. Человѣкъ не лишенный духа музыки—вѣчно бьющій фонтанъ, въ брызгахъ котораго отражается солнце и луна. Лишенный внутренней музыки—неподвижная гнилая лужа, въ которой завелись черви и ужъ ничего не отражается. Отношеніе къ содержанію высказываемыхъ воззрѣній, этотъ аккомпаниментъ души къ словамъ, вотъ что важнѣе всего въ мудреца. Существенное различіе между нимъ и дуракомъ заключается въ томъ, что и дуракъ говоритъ умныя вещи, но при этомъ кажется глупымъ. Мудрецъ, говоря глупости, никого не проведетъ, развѣ дураковъ.

Ницше уже не философъ въ прежнемъ смыслѣ, а мудрецъ. Положенія его—часто символы. Богъ вѣсть куда проникаешь за нимъ, сколько гранитныхъ стѣнъ таетъ передъ его дѣтскими очами. Сама дѣйствительность начинаетъ казаться стеклянной. Это футляръ иного. Промахи Ницше только тамъ, гдѣ начинаешь предъявлять къ

нему требованія религіознаго откровенія. Религіозное откровеніе есть система правильно развертываемыхъ символовъ. Таково ея внѣшнее опредѣленіе. Если символъ—окно въ Вѣчность, то система символовъ не можетъ казаться непрерывной, какъ системы догматизма и критицизма, гдѣ все связано логической формой. Это рядъ прерывныхъ образовъ, раскрывающихъ разныя стороны единаго. У Ницше символы не приведены въ систему. Однако, формально-логическія системы не могутъ удовлетворять его. Ницше шелъ отъ критицизма къ символизму. Вотъ почему у него спутанность методовъ познанія. Часто онъ говоритъ объ одномъ и томъ же, но разными языками. Это усугубляетъ кажущіяся противорѣчія его мысли. Проливаетъ нѣкоторый свѣтъ на судьбу его. Безуміе Ницше не является ли результатомъ неумѣнія разграничить символизмъ съ критицизмомъ? Критицизмъ теряетъ строгую отчетливость съ вторженіемъ ослѣпительныхъ образовъ, влекущихъ мысль туда и сюда, вмѣсто того, чтобы сосредоточить ее. Обратное: мудрость рождаетъ цѣнности. Критицизмъ ничего рождаетъ не въ состояніи. Не потому ли яркія, какъ саламандра, краски подчасъ отравлены у Ницше. Вѣдь и лекарства бываютъ ядовиты.

Форма, которой преимущественно пользовался Ницше—афоризмъ. Афоризмъ позволяетъ мгновенно окинуть какой угодно горизонтъ, соблюдая отношеніе между частями. Афоризмъ—наиболѣе тѣсная форма общенія автора съ читателями, при условіи, что авторъ умѣло выражается, а читатель—схватываетъ. Афоризмъ—открытая дверь къ самостоятельному пути тамъ, гдѣ авторъ лишь разставляетъ вѣхи. Изъ одного хорошаго афоризма можно вы-

тащить больше жемчужинъ, чѣмъ изъ хорошей, тяжелой книги. Морская гладь таитъ въ своихъ нѣдрахъ не одно чудовище. Афоризмъ—точка отправленія, гдѣ путь уже предвиденъ. Навивны тѣ, которые не видятъ въ афоризмѣ наилучшаго средства ловить въ свои сѣти, при всей внѣшней его неубѣдительности. Что хорошаго въ капканѣ, который виденъ за много верстъ. Афоризмъ или выше, или ниже строгаго мышленія. Вопросъ въ авторѣ афоризма. Не потому ли афористическій образъ мысли имѣетъ столько враговъ, что большинство изъясняющихся афористически терпятъ фіаско. Яростно обрушиваясь на афоризмъ, они должно быть имѣютъ передъ глазами образчики собственнаго издѣлія. Символъ, извнѣ опредѣляемый, есть напряженный до крайности афоризмъ. Афоризмъ поэтому—мостъ къ символу. Этимъ мостомъ шелъ Ницше отъ критицизма къ символизму. Въ нѣкоторыхъ афоризмахъ Ницше зерно—символично, а внѣшность—разумна. Это не должно казаться страннымъ. Вѣдь геніально-безумное познаніе отличается отъ разумнаго только расширеніемъ формъ. Символъ—идеаль афоризма. Афоризмы Ницше часто далеко не идеальны. Ницше не вездѣ символистъ. Условно можно говорить о воззрѣніяхъ Ницше какъ о чемъ то систематическомъ. Эта систематичность—явленіе внѣшнее. Изнутри—это символы. Извнѣ—воззрѣнія. Часто они при анализѣ шатки, и еще недостаточно убѣдительны, чтобы не возбуждать доказательствъ. Касаясь такихъ воззрѣній, перебрасываешься отъ символизма къ философіи и обратно. Ницшеанство, какъ всякое ученіе съ выходами въ символизмъ, имѣетъ нѣсколько зонъ пониманія. Въ немъ уже есть внутренній

путь. Мы слегка коснемся хотя бы двух стадій пониманія ницшеанства: какъ трагизма и какъ теургизма.

Пропасть развертывается у нашихъ ногъ, когда мы срываемъ съ явленій маску. Мы ужасаемся бездной, раздѣляющей тогда насъ отъ спящихъ. Мы ужасаемся разницей между видѣніями и бытіемъ. Уединенно удаляемся за милліоны верстъ. Не осилить пропасти. Обманчивый покровъ явленій да разсужденія о сущности отъ противнаго, лишаютъ бодрости духа при встрѣчѣ съ глубиной. Такъ вкрадчиво подступаетъ глубина къ трепещущему сердцу — и вотъ мы оказываемся стоящими вверхъ ногами при взглядѣ туда. То, что открылось, столь необычно, что ужасаетъ. Получается впечатлѣніе пробужденія какихъ-то доселѣ спавшихъ чудовищъ духа. Гладкая поверхность моря таитъ не одно чудовище. Хаосъ начинаетъ звать. Сначала это — вкрадчивое мяуканье кошки. Потомъ — ревъ стихій. Хаосъ со свистомъ врывается въ нашу жизнь изъ нами же обнаруженныхъ отверстій. Чтобъ сдержатъ напоръ встающей сущности, которая съ непривычки кажется хаосомъ, мы искусственно занавѣшиваемъ окна въ глубину. Съ испугомъ взираемъ, какъ надуваются покрывала отъ свистящей бури глубины. Отсюда наша драма. Но какъ бы мы ни завѣшивали хаосъ, мы вѣчно остаемся на границѣ между нимъ и жизнью. Это совмѣщеніе сущности (духа Діониса) съ видимостью (съ духомъ Аполлона) — нашъ трагизмъ, движеніе руки къ глазамъ, когда ослѣпительный свѣтъ лишаетъ зрѣнія и въ глазахъ какіе-то круги — чудища, принимаемая нами за реальное выраженіе сущности. Должна настать пора, когда мы отнимемъ руки отъ глазъ, или вторично увѣруемъ въ надѣ-

тую маску, т. е. вернемся къ внѣшности. Но забыть, разъ видѣнное, нельзя. Можно отвертываться. Послѣднее — ужасъ для насъ, а первое, т. е. наше ухождение въ глубину, — ужасъ для окружающихъ. Оба ужаса стерегутъ насъ на границѣ между пессимизмомъ и трагизмомъ, между критицизмомъ и символизмомъ.

Вотъ первая стадія пониманія ницшеанства.

Цвѣта радуги, переливающіеся въ „Заратустрѣ“ — цвѣта, дрожащіе на мутныхъ волнахъ хаоса. Вотъ разорвется пестрая паутина на тысячу цвѣтныхъ лоскутковъ. Оскалится Вѣчность. Зазіяютъ ея пасти, грозящія проглотить. Ослѣпительное золото ницшеанства, шагание по вершинамъ — что-то дикое, древнее, призывающее титановъ изъ Тартара. Все ницшеанство является какимъ-то смакованіемъ „Тихаго часа“ Заратустры, когда не онъ, не она, а какое-то ужасное оно нашептываетъ страхи. Со мной заговорили безгласно: „ты это знаешь, Заратустра?“ И я вскрикнулъ отъ страха... Тогда со мной снова заговорили безгласно: „Ты это знаешь, Заратустра, но ты этого не говоришь... Да, я знаю, но не хочу объ этомъ говорить... Тогда опять безгласно заговорили со мной: „Ты не хочешь, Заратустра? Да правда ли это? Не скрывайся въ своемъ упрямствѣ“... Самъ Ницше уподобляется человѣку въ одинокой квартирѣ. Въ двери ломаются. Неизвѣстные выламываютъ дверь. Полагая, что это продѣлки друзей, въ послѣдней надеждѣ осажденный начинаетъ выкрикивать: „Я знаю васъ, шутники!“ Силится улыбнуться. Здѣсь Ницше какъ бы апокалипсическая звѣзда, о которой сказано: „Пятый Ангелъ вострубилъ и я увидѣлъ звѣзду, падшую съ неба на

землю, и данъ ей былъ ключъ отъ кладезя бездны: она отворила кладезь бездны“ (Откр. IX, 1, 2). И вмѣстѣ съ тѣмъ Ницше — восхищеніе: фонтанъ остроумія, игра мыслей — бьющихся струй—это прыжки великана съ вершины на вершину! Хочешь испить отъ источника, наклоняешь къ влагѣ ссохшія уста — и вотъ только бьющаяся пѣна. Ее нельзя ни пить, ни захватить въ сосуды: съ шипѣніемъ она вылетаетъ.

Но если не опустить глаза передъ Ницше и выдержать первоначальную жуткость его образовъ, неожиданный, освѣжающій вѣтерокъ — ласковобархатный, грустномягкій — обвѣваетъ робкой надеждой. Ревъ хаоса слагается въ бархатъ вкрадчивой пѣсни. То, что ужасало, грозило сжечь огнемъ, закидать обломками, затопить лавой, оказывается только стороною прошедшей грозой. Одни безгласныя зарницы

*„Какъ демоны глухонѣмые  
„Ведутъ бесѣду межъ собой“.*



Три идеи господствуютъ надъ философией Ницше. Это идея объ условности нравственнаго закона, о сверхчеловѣкѣ и о вѣчномъ возвращеніи.

Во всякой религіи нравственный законъ является не цѣлью самой по себѣ, а путемъ достиженія вѣчныхъ цѣнностей. Способствовать въ себѣ и въ окружающихъ расчищенію путей (т. е. нравственности), ведущихъ къ цѣли (обо-

жествленіе личности), значитъ исполнять нравственный законъ. Законъ вѣнчается благодатью. Благодать, включая полноту закона, вноситъ нѣчто такъ сказать сверхъ-законное. Здѣсь линия касанія всякой нравственности съ религіозной символикой, которая управляетъ нравственностью. Нравственности нѣтъ: существуютъ нравственности, подчиненныя высшимъ принципамъ. *Въ христіанствѣ нравственность безъ Христа — ничто.* Христосъ воплощаетъ нравственность. „Законъ“, говоритъ апостолъ Павелъ, „имѣя тѣнь будущихъ благъ, а не самый образъ вещей, одними и тѣми же жертвами, каждый годъ постоянно приносимыми, никогда не можетъ сдѣлать совершенными входящихъ съ нимъ“. „Но когда пришла полнота временъ, Богъ послалъ Сына своего“. „До пришествія мы заключены были подъ стражею закона. И такъ, законъ былъ для насъ дѣтководителемъ ко Христу. По прошествіи же вѣры, мы уже не подъ руководствомъ дѣтводителя“ (къ Галатамъ). „Мы теперь дѣти Божіи“, говоритъ апостолъ Іоаннъ, „но еще не открылось, что будемъ. Знаемъ только, что когда откроется, будемъ подобны Ему, потому что увидимъ Его, какъ Онъ есть. И всякій имѣющій сію надежду на Него, очищаетъ себя, такъ какъ Онъ чистъ“. (Первое посланіе). „Побѣждающему, говоритъ Господь, дамъ сѣсть на престолѣ Моемъ, какъ и Я побѣдилъ и сѣлъ съ Отцемъ на престолѣ Его“. (Откровеніе). При ясномъ сознаніи двуединства природы человѣка всякая мораль феноменальна. Она не простирается до конца нашего пути къ Богу, гдѣ Христова свобода абсолютна. Въ христіанствѣ источникъ нравственности — Христосъ, и имъ все опредѣляется. Въ ницшеанствѣ — сверхъ-

человѣкъ. Христосъ былъ: слѣдовательно у насъ есть мѣрило нравственности. Сверхъ-человѣкъ—будетъ; слѣдовательно нравственно то, что способствуетъ его появленію. Вотъ источникъ расхожденія Ницше съ христіанствомъ. Нравственность Ницше — особая нравственность, но это—нравственность, ибо она предполагаетъ самимъ фактомъ пересѣчки цѣнностей существованіе ихъ. Она—путь къ нимъ. Обѣ нравственности (христіанская и ницшеанская) одинаково противопоставлены теоріямъ нравственности во имя нравственности, безъ Бога, безъ пути.

Критика ницшеанской морали переноситъ вопросъ о нравственностяхъ къ сравненію Лика Христа и Лика Сверхъ-человѣка. Этотъ вопросъ повергаетъ насъ въ бездну психологическихъ, мистическихъ, догматическихъ тонкостей. Тутъ начинается сокровенность всякаго мистицизма, предполагающая извѣстную подготовленность и любовь къ мистико-психологическимъ методамъ изслѣдованія.



Если отбросить въ вѣкахъ проходящую мысль о повторномъ существованіи, и совершенно особенное настроеніе, которое охватываетъ при созерцаніи нѣкоторыхъ явленій, когда эти явленія кажутся уже совершившимися когда-то, аргументы въ пользу идеи вѣчнаго возвращенія ничтожны. Ихъ нѣтъ. Другое дѣло, если идеи о вѣчномъ возвращеніи

и безвозвратномъ прохожденіи мимо разсматривать какъ двѣ стороны нашего бытія, двѣ идеи нашего существованія, имѣющія одинаковыя права на нашу психику.

Характерно—если прямая символизируетъ безвозвратное прохожденіе мимо, то кругъ—вѣчное возвращеніе, „кольцо возврата“. Обѣ линіи связаны другъ съ другомъ эллипсисомъ. Далѣе: путь точки по прямой и по кругу одинаково безконеченъ, особенно, если радиусъ моего круга равенъ безконечности. Прямая—это окружность круга, съ радиусомъ равнымъ безконечности. Въ спирали совмѣщеніе прямой и круга. Символизируемое прямой есть, быть можетъ, символизируемое спиралью. Разлагая движеніе по спирали высшаго порядка, мы получаемъ движеніе круговое и по прямой. Но если эта прямая—спираль низшаго порядка, то она въ свою очередь разложима на прямую и кругъ. Продолжая такъ до безконечности, мы получимъ графическое изображеніе прямой и рядъ колецъ, нанизанныхъ другъ на друга. Не заключается ли въ этой діаграммѣ то, что непосредственно вырвало крикъ у Ницше: „О, какъ же мнѣ не жаждать Вѣчности и брачнаго кольца, конецъ—кольца возврата“.

Шестовъ прекрасно подчеркиваетъ недоговоренность у Ницше во всемъ, что касается идеи вѣчнаго возвращенія. Это идеальный символъ, къ которому, какъ къ фокусу, сходятся лучи ницшеанства. Всякое объясненіе его—только мостъ къ непосредственному очарованію этой идеи. Шестовъ указываетъ, что слѣдуетъ дѣлать удареніе на понятіи вѣчности, а не на понятіи возврата. Вѣчное возвращеніе въ такомъ освѣщеніи—возвращеніе Вѣчности—

тѣхъ эпохъ, о которыхъ Метерлинкъ говоритъ: „Въ удаленную эпоху исторіи Индіи душа по всѣмъ даннымъ приближалась къ поверхности жизни... Можетъ быть придетъ время, когда души наши увидятъ другъ друга безъ посредства чувствъ“. Въ спиральномъ путешествіи души сквозь время замѣчаются періоды приближенія къ поверхности—періодическое возвращеніе Вѣчности. Это — „день великаго полудня“, о которомъ апостолъ Павелъ говоритъ: „Но когда пришла полнота временъ, Богъ послалъ Сына Своего“. (Къ Галатамъ).

Всѣ три идеи—символы Ницше—безсознательно касаются религіозно-мистическихъ вопросовъ. Спутанность методовъ познанія у Ницше помѣшала ему видѣть, къ чему онъ перекидываетъ мостъ отъ критицизма. Ницше остался на серединѣ моста, равно удаленный и отъ критицизма, и отъ смутныхъ очертаній береговъ обѣтованной земли — острова дѣтей среди лазури.

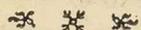
На религіозную истину Ницше смотрѣлъ сквозь призму дали. Даль способна затѣнить истину и создать фантазмагорію. Ницше возставалъ противъ фантазмагорій. Принималъ религію за то, что ее заслоняетъ. Онъ шелъ отъ вѣчныхъ дѣнностей къ тѣмъ же вѣчнымъ дѣностямъ. Описавъ кругъ, подходилъ къ нимъ съ другой стороны. Его путь обратенъ теософскому. Отказавшись отъ вѣчнаго, голубого храма, онъ пришелъ къ голубому храму Вѣчности. Безсознательно подводилъ подъ него наиболѣе крѣпкій фундаментъ. Отвергнувъ старые догматы, сталъ творить новые. И въ его неоконченномъ творествѣ зоркій глазъ начинаетъ видѣть все тѣ же очертанія. Въ глубинѣ ста-

рыхъ догматовъ заключена безконечность новыхъ чертъ, открывающихся „малымъ симъ“ эволюціонно. „Сетворю все новое“ сказано въ Откровеніи: „Побѣждающему дамъ вкушать сокровенную манну, и дамъ ему бѣлый камень и на немъ написанное новое имя, котораго никто не знаетъ, кромѣ того, кто получаетъ“. (Откровеніе). Ницше хотѣлъ вкусить сокровенную манну, назвать новое имя. Для этого онъ отдѣлился. По столько, по сколько онъ отдѣлился отъ пошлости, онъ созидалъ. Но за слоемъ пыли, онъ не рассмотрѣлъ вѣчной истины. Принимая ее, мы приближаемся къ сокровенному имени. Сокровеннаго имени не назвалъ Ницше.

Религіозные догматы фиксируютъ, между прочимъ, переживанія богооткровеннаго характера. Въ христіанствѣ собрано все, что есть наиболѣе значительнаго въ этихъ переживаніяхъ. Христіанство существенный, а не формальный синтезъ. Европейская культура приняла этотъ драгоценный плодъ и часто не могла понять всей безмѣрности его символовъ. Нужно было отказаться отъ Христа, или извратить религіозное пониманіе. Отказываясь отъ собственнаго непониманія, многіе отказались отъ истины. Вотъ гдѣ ошибка. Вотъ въ чемъ сила.

Въ нашемъ отношеніи къ вопросамъ религіознымъ должна произойти существенная перемѣна. Плодотворное развитіе европейской культуры началось съ момента возвращенія къ язычеству; съ эпохи возрожденія. И однако эта же культура, сходя на нѣтъ, обращаетъ взоры на Востокъ. Остается недоумѣніе: или даже религія неспособна удовлетворить человѣчество и обращеніе къ

религіи — показатель отчаянія. Или въ пониманіи релігіозныхъ истинъ вкрались ошибки.



Соединеніе вершинъ символизма, какъ искусства, съ мистикой Владиміръ Соловьевъ опредѣлялъ особымъ терминомъ. Терминъ этотъ — теургія. „Вселюсь въ нихъ и буду ходить въ нихъ, и буду ихъ Богомъ“, говоритъ Господь. Теургія — вотъ что воздвигаетъ пророковъ, вкладываетъ въ уста ихъ слово, дробящее скалы.

Мудрость Ницше на болѣе углубленной, сравнительно съ трагизмомъ, стадіи пониманія можно опредѣлить, какъ стремленіе къ теургіи. И отдѣльныя мѣста этой мудрости явно сквозятъ теургизмомъ. Если въ символизмѣ мы имѣемъ первую попытку показать во временномъ вѣчное, въ теургіи — начало конца символизма. Здѣсь уже идетъ рѣчь о воплощеніи Вѣчности путемъ преображенія воскресшей личности. Личность — храмъ Божій, въ который вселяется Господь: „Вселюсь въ нихъ и буду ходить въ нихъ“. (Левитъ XXVI, 12).!

Догматика христіанства отвергнута Шопенгауэромъ. Житейская техника — Ницше. Утверждая личность, какъ сосудъ, вмѣщающій Божество, а догматъ, какъ внѣшнеочерченный кругъ, замыкающій путь, безконечно продолженный, не разрывая связи съ вершинами ницшеанства, но стараясь изнутри преодолѣть ихъ, какъ Ницше преодолевалъ Шопенгауэра — христіане теурги надѣются на близость новой благой

вѣсти, указаніе на которую встрѣчается въ Писаніи. Разрѣшеніе вѣковыхъ загадокъ бытія переносится по ту сторону ницшеанства. Подъ мину подводится контръ-мина. Но и ужасъ здѣсь. Духъ захватываетъ. Вѣдь за Ницше обрывъ. Вѣдь это такъ. И вотъ сознавая безнадежность стоянія надъ обрывомъ и невозможность возврата въ низины мысли, надѣются на чудо полета. Когда летательныя машины еще неусовершенствованны, полеты вообще опасная вещь. Недавно погибъ Лилиэнталь — воздухоплаватель. Недавно мы видѣли неудачный, въ глазахъ многихъ, полетъ и гибель другого воздухоплавателя — Ницше — Лилиэнтала всей культуры. Пониманіе Христіанства теургами невольно останавливаетъ вниманіе. Или это послѣдняя трусость, граничащая съ безстрашіемъ — скачекъ (потому что вѣдь только каменные козлы на рога бросаются въ бездну), или это пророческая смѣлость неофитовъ, вѣрующихъ, что въ моментъ паденія выростутъ спасительныя крылья и понесутъ человечество надъ исторіей. Задача теурговъ сложна. Они должны итти тамъ, гдѣ остановился Ницше — итти по воздуху. Вмѣстѣ съ тѣмъ они должны считаться съ теософскимъ освѣщеніемъ вопросовъ бытія и не итти въ разрѣзъ съ исторической церковью. Тогда, быть можетъ, приблизятся горизонты ницшевскихъ видѣній, которыхъ самъ онъ не могъ достигнуть. Онъ слишкомъ вынесъ передъ этимъ. Слишкомъ длиненъ былъ его путь. Онъ могъ только усталый прійти къ берегу моря и созерцать въ блаженномъ оцѣпенѣніи, какъ заревые отсвѣты тучъ несутся въ вечернемъ потоцѣ лучезарныхъ смарагдовъ. Онъ могъ лишь мечтать на закатѣ, что это — ладья огненнаго золота, на которыхъ

слѣдуетъ уплыть: „О, душа моя избыльна и тяжела стоишь ты теперь, виноградное дерево съ темнозолотистыми гроздьями, придавленная своимъ счастьемъ. Смотри, я самъ улыбаюсь,— пока по тихимъ тоскующимъ морямъ не понесется челнокъ, золотое чудо“. (Заратустра).

Уплылъ ли Ницше въ голубомъ морѣ? Нѣтъ его на нашемъ горизонтѣ. Наша связь съ нимъ оборвана. Но и мы на берегу, а золотая ладья еще плещется у ногъ. Мы должны сѣсть въ нее и уплыть. Мы должны плыть и тонуть въ лазури.

Одни изъ насъ обращены къ прошлому, гдѣ старинное золото сжигается во имя солнечныхъ потоковъ. Въ ихъ очахъ убѣгающее солнце и о сожженномъ золотѣ, быть можетъ, они плачутъ.

*Золотѣя, эфиръ просвѣтитъ  
И въ восторгѣ сгоритъ.  
А надъ моремъ садится  
Ускользящій солнечный щитъ.  
И на морѣ отъ солнца  
Золотые дрожатъ языки.  
Всюду отблескъ тервонца  
Среди вслѣсковъ тоски.  
Встали груди утесовъ*

*Средь прелещущей, солнечной ткани.  
Солнце сбло. Рыданій  
Полонъ крикъ альбатросовъ:  
Дѣти Солнца! Вновь холодъ  
безстрастья:*

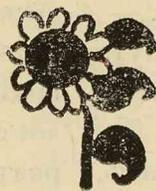
*Закатилось оно —  
Золотое, старинное счастье,  
Золотое руно.*

Безконечно вѣря въ чудо полета,  
другіе могутъ отвѣтить имъ:

*Зовутъ аргонавты  
На солнечный лиръ,  
Трубя въ золотбющій міръ.  
Внимайте, внимайте:  
Довольно страданій.*

*Броню надѣвайте  
Изъ солнечной ткани!  
Все небо въ рубинахъ.  
Шаръ солнца логилъ.  
Все небо въ рубинахъ  
Надъ нами.  
На горныхъ вершинахъ  
Нашъ Арго,  
Нашъ Арго,  
Готовясь летѣть, золотыми  
крылами*

*Забилъ.*



### III.

„Богъ есть свѣтъ и нѣтъ въ Немъ никакой тьмы“. Свѣтъ отли-

чается отъ цвѣта полнотою заключенныхъ въ него цвѣтовъ. Цвѣтъ есть свѣтъ, въ томъ или другомъ отношеніи ограниченный тьмою. Отсюда феноменальность цвѣта. Богъ является намъ:

1) какъ существо безусловное, 2) какъ существо безконечное.

Безусловное надъ свѣтомъ. Безконечное можетъ быть символизировано безконечностью цвѣтовъ, заключающихся въ лучѣ блага свѣта. Вотъ почему „Богъ есть свѣтъ и нѣтъ въ Немъ никакой тьмы“. „Увидѣлъ я“, говоритъ пророкъ Даніилъ, „что поставлены были престолы и возсѣлъ Ветхій днями; одѣяніе на немъ было какъ снѣгъ“... Мы существа, созданныя по образу и подобию Бога, въ глубочайшемъ началѣ нашего бытія обращены къ свѣту. Вотъ почему окончательная противоположность божественности открывается намъ условно ограниченіемъ цвѣта до полного его отсутствія. Если бѣлый цвѣтъ—символь воплощенной полноты бытія, черный—символь небытія, хаоса: „Посему они (нечестивые) поражены были слѣпотою... когда будучи объаты густою тьмою, искали каждый выхода“... Черный цвѣтъ феноменально опредѣляетъ зло, какъ начало нарушающее полноту бытія, придающее ему призрачность. Воплощеніе небытія въ бытіе, придающее послѣднему призрачность, символизируетъ сѣрый цвѣтъ. И поскольку сѣрый цвѣтъ создается отношеніемъ черного къ бѣлому, постольку возможное для насъ опредѣленіе зла заключается въ относительной срединности, двусмысленности—Опредѣленіе чорта, какъ юркаго сѣраго проходима съ насморкомъ и съ хвостомъ, какъ удатской собаки, Мережковскій заложилъ прочный фундаментъ для теософіи цвѣтовъ, имѣющей будущее. Къ сожалѣнію, самъ онъ, открывъ дверь къ дальнѣйшимъ выводамъ, даже не заглянулъ въ нее.

Исходя изъ характера сѣраго цвѣта, мы постигаемъ реальное дѣйствіе зла.

Это дѣйствіе заключается въ возведеніи къ сущности отношенія безъ относящихся. Такое отношеніе—нуль, машина, созданная изъ вихрей пыли и пепла, крутящаяся неизвѣстно зачѣмъ и почему. Логика этой срединности такова: Положимъ, существуетъ нѣчто безотносительное; тогда проявленіе безотносительнаго совершается особаго рода измѣреніемъ; назовемъ это измѣреніе глубиннымъ, а противоположное ему плоскостнымъ. Когда для измѣренія предметовъ мы возстановляемъ три координатныхъ осей, то отъ насъ зависитъ одну изъ трехъ осей назвать измѣреніемъ глубины, а осей, лежащія въ плоскости перпендикулярной суть плоскостныя измѣренія ширины и длины. Можно обратно: измѣреніе глубины назвать измѣреніемъ ширины. Отъ насъ зависитъ выборъ координатныхъ осей. Если безотносительное глубоко сравнительно съ относительнымъ, то выборъ глубины и плоскости съ нашей стороны всегда относителенъ. Мы уподобляемся точкѣ пересѣченія координатныхъ осей. Мы—начало координатъ. Вотъ почему отсчетъ съ нашей стороны по линіямъ глубины, ширины и длины произволенъ. Такая логика расплющиваетъ всякую глубину. Все срываетъ и уноситъ... но никуда не уноситъ, совсѣмъ какъ кантовскій ноуменъ, ограничивающій призрачную дѣйствительность, но и самъ не-сущій. Міръ является ненужной картиной, гдѣ всѣ бѣгутъ съ искаженными, позеленѣвшими лицами, занавѣшенные дымомъ фабричныхъ трубъ—бѣгутъ, въ ненужномъ порывѣ вскакиваютъ на конки—ну совсѣмъ какъ въ городахъ. Казалось бы—единственное бѣгство—въ себя. Но „Я“—это единственное спасеніе—оказывается только черной пропастью, куда вторично вры-

ваются пыльные вихри, слагаясь въ безобразныя, всѣмъ намъ извѣстныя картины. И вотъ чувствуешь, какъ вѣчно проваливаешься—со всѣми призраками призракъ, со всѣми нулями нуль—но и не проваливаешься, потому что некуда провалиться, когда всѣ равномерно летятъ, уменьшаясь равномерно. Такъ что міръ приближается къ нулю, и уже нуль, а конки плетутся; за нимъ бѣгутъ эти повитые блѣдностью нули въ шляпахъ и картузахъ. Хочется крикнуть: „Очнитесь!.. Что за нескладница?“, но крикомъ собираешь толпу зѣвакъ, а можетъ быть и городского. Нелѣпность растетъ, мстя за попытку проснуться. Вспоминаешь ницшеовское: „Пустыня растетъ: горе тому, въ комъ таятся пустыни“—и что-то омерзительное охватываетъ сердце. Это и есть чортъ—сѣрая пыль, осѣдающая на всемъ.

Только тогда всколыхнется сѣрое марево, гасящее свѣтъ, когда изъ души вырвется крикъ отчаянія. Онъ разорветъ фантазмагорію. „И зареветъ на него въ тотъ день какъ бы ревъ разъяреннаго моря и взглянетъ онъ на землю и вотъ—тьма, горе и свѣтъ померкъ въ облакахъ“ (Исаія). Въ этомъ состоитъ обманъ неожиданности; онъ обнаруживаетъ какъ бы бездну у ногъ. Кто скажетъ, что это дѣйствительная бездна, тотъ отношеніе приметъ за сущность. Современные любители созерцанія въ искусствѣ всякихъ безднъ — почти всѣ они находятся на этой стадіи. Слѣдуетъ помнить, что здѣсь еще нѣтъ никакой бездны. Это—оптический обманъ. Туча пыли загасила въ рукахъ свѣтильникъ, занавѣсивъ непроницаемой стѣнной вѣчный свѣтъ. Это—черная стѣнная пыли, которая въ первый моментъ кажется пропастью, подобно тому какъ неосвѣщен-

ный чуланъ можетъ казаться бездонно-черной вселенной, когда мракъ, не позволяющій разглядѣть его предѣлы, слѣпить глаза. Не слѣдуетъ бояться бунтующаго хаоса. Слѣдуетъ помнить, что онъ — завѣса, искусство, который нужно преодолѣть. Нужно вступить во мракъ, чтобы выйти изъ него.

Первое сіяніе, разрѣзающее мракъ, окрашено желтобурымъ, зловѣщимъ налетомъ пыли. Этотъ зловѣщій отблескъ хорошо знакомъ всѣмъ пробуждающимся, находящимся между сномъ и дѣйствительностью. Горе тому, кто не разсвѣтъ этотъ зловѣщій отблескъ преодолѣніемъ хаоса. Онъ падетъ, раздавленный призракомъ. И Лермонтовъ, не сумѣвшій разобраться въ пригрезившемся ему пути, всегда обрывалъ свои глубокія прозрѣнія.

*Хранится пламень неземной  
Со дней младенчества во мнѣ.  
Но вѣрно ему судьбой  
Какъ жилъ, погибнуть въ тишинѣ.*

(Лермонтовъ).

Ужасъ невоплощенныхъ прозрѣній висѣлъ надъ нимъ, какъ занесенная сѣкира палача:

*Гляжу на будущность съ боязнью,  
Гляжу на прошлое съ тоской  
И какъ престулникъ лередъ казнью  
Ищу кругомъ души родной.*

(Лермонтовъ).

И закатъ, въ которомъ самъ же Лермонтовъ видѣлъ священную улыбку—блещетъ, какъ жгучее пламя:

*Закатъ горитъ огнистой полосой  
Любуюсь имъ безмолвно подъ окномъ.*

*Быть можетъ завтра онъ заблещетъ  
надо мной  
Безжизненнымъ, холоднымъ мертвецомъ.*

*(Лермонтовъ).*

И Лермонтовъ былъ обреченъ на полное непониманіе сущности угнетавшаго его настроенія, которое могло казаться (о, ужасъ!)—позой, благодушнымъ пессимизмомъ, міровой скорбью, „поэтической“ грустью, тогда какъ на всемъ этомъ лежитъ отпечатокъ священной пророческой тоски.

Но такова участь „впервые открывающихъ глаза“. Они равно далеки и отъ сна, и отъ побѣды.

*Слеза по щекѣ огневая капится,  
Она не отъ сердца идетъ.  
Что въ сердцѣ обманутомъ жизнью  
хранится,  
То въ немъ навсегда и умретъ,*

Потому что

*Не встрѣтитъ отвѣта  
Средь шума мірскаго  
Изъ пламя и свѣта  
Рожденное слово.*

Въ судьбахъ отдѣльныхъ выдающихся личностей, какъ въ камеръ-обскурѣ, отражаются судьбы цѣлыхъ эпохъ, наконецъ судьбы всемірно-историческія. Отдѣльныя лица все чаще становятся актерами, разыгрывающими наши будущія трагедіи—сначала актерами, а потомъ можетъ быть и дѣятелями событій. Надѣтая маска приростае къ лицу. Такіе лица часто оказываются точками приложенія и пересѣченія всемірно-историческихъ силъ. Это — окна, чрезъ которыя дуетъ на насъ вѣтеръ будущаго.

Такимъ лицомъ былъ Лермонтовъ. Въ его судьбѣ узнаешь всѣмъ намъ грозящія судьбы. Сѣкира, занесенная надъ нимъ, грозитъ всѣмъ намъ.

*Что судьбы вамъ дряхлѣющаго міра?  
Надъ вашей головой колеблется сѣкира.*

*Ну что жъ? Изъ васъ одинъ ее  
увидю я.*

*(Лермонтовъ).*

Ужасъ передъ дряхлѣющимъ міромъ, надъ которымъ занесена сѣкира, напоминаетъ евангельскія слова о дняхъ, въ которые будетъ „такая скорбь, какой не было отъ начала творенія“—о послѣднихъ дняхъ. Еще ступеню дальше и образъ грядущаго Мстителя долженъ встать передъ Лермонтовымъ. И онъ встаетъ:

*Настанетъ годъ, Россіи терный годъ,  
Когда туманъ отъ смрадныхъ мертвыхъ  
тѣлъ  
Натнетъ бродить среди летальныхъ  
селъ...*

*И зарево окраситъ волны рѣкъ...  
Въ тотъ день явится мощный теловѣкъ...*

*И будетъ все ужасно, мрачно въ немъ.*

*(Лермонтовъ).*

Гутъ онъ перекликается съ современными поэтами и писателями:

*Конецъ уже близокъ, неожиданное случится скоро.*

*(Вл. Соловьевъ).*

*Мнѣ тудится—бѣда великая близка!  
Но близости ея никто еще не слышитъ...*

*(Голенищевъ-Кутузовъ).*

„Грязненькіе“ трактиры... встрѣчаются во всѣхъ романахъ Достоевскаго. Въ нихъ то и происходятъ самые важные, отвлеченные и страшные разговоры главныхъ героевъ его о послѣднихъ судьбахъ русской и всемірной исторіи. И... чувствуешь, что именно пошлость этой.. лакейской, „смердяковской“ обстановки... придаютъ бесѣдамъ этимъ ихъ особенный, современный, русскій... грозовой и зловѣщій—какъ небо передъ ударомъ грома... апокалипсическій отблескъ“ (Мережковскій).

Лучъ вѣчнаго свѣта придаетъ здѣсь, безобидной на взглядъ, серединной сѣрости этотъ ужасный, истинный для нея отбѣнокъ. Преодолевая эту стадию, мы приближаемся къ другому испытанію — внезапно все окрашивается огненнымъ блескомъ краснаго зарева. Въ физикѣ извѣстно свойство бѣлаго луча окрашиваться краснымъ цвѣтомъ при прохожденіи сквозь запыленную, непрозрачную среду опредѣленной толщины и плотности. Итакъ, впечатлѣніе краснаго создается отношеніемъ бѣлаго свѣточа къ сѣрой средѣ. Относительность, призрачность краснаго цвѣта,—своего рода теософское открытіе. Здѣсь врагъ открывается въ послѣдней своей намъ доступной сущности — въ пламенно-красномъ заревѣ адскаго огня. Слѣдуетъ помнить, что это—послѣдній предѣлъ относительности — призракъ призрака, способный однако оказаться реальнѣй реальнаго, принявъ очертанія змія: „Вотъ большой, красный драконъ съ семью головами и десятью рогами, и на головахъ его семь діадимъ; хвостъ его увлекъ съ неба третью часть звѣздъ (Откровеніе).

Это—Марево; это горятъ остатки пыли, насѣвшей на человѣкѣ; это—въ глазахъ у насъ. „Являлись имъ“, гово-

рится въ Премудрости Соломона, „только сами собою горящіе костры, полные ужаса, и они, страшась невидимаго призрака, представляли себѣ дѣйствительность еще худшей“.

Любовь на этой стадіи окрашена огненнымъ цвѣтомъ всепожирающей страсти; она полна темныхъ чаръ и злого, земного огня.

*Одинокій къ тебѣ прихожу  
Околдованъ огнями любви.  
Ты гадаешь—меня не зови  
Я и самъ ужъ давно ворожу.  
Ворожкой лолощенные дни  
Я лелѣю года—не зови  
Только скоро-ль логаснутъ огни  
Заколдованной, темной любви.  
(Блокъ).*

Такая любовь способна явить образъ той, о которой сказано въ откровеніи: „И я увидѣлъ жену, сидящую на багряномъ звѣрѣ... И на челѣ ея написано имя: тайна, Вавилонъ великій, мать блудницамъ и мерзостямъ“.

Здѣсь нельзя оставаться. Здѣсь сгоришь. Нужно итти впередъ. Вѣдь и слова апостола Петра достаточно ясно говорятъ, что это—искусь: „Возлюбленные! Огненнаго искушенія для испытанія вамъ посылаемаго, не чуждайтесь, какъ приключенія для васъ страннаго; но какъ вы участвуете въ Христовыхъ страданіяхъ, радуйтесь“. „Если будутъ грѣхи ваши какъ багряное,—какъ снѣгъ убѣлю“; говоритъ пророкъ Исая „если будутъ красны, какъ пурпуръ, какъ волну убѣлю“. „Но въ этомъ огнѣ, въ этомъ пожарѣ, отъ котораго міръ долженъ загорѣться и сгорѣть остается свѣжесть галилейскихъ лилій неувядаемой. Какая тайна въ благоуханіи этихъ бѣлыхъ лилій,

въ благоуханіи бѣлой какъ лилія, воскресшей Плоти“ (Мережковскій). Отъ нашей воли зависитъ собственной кровью погасить пожаръ, превратить его въ багряницу страданія. А то мы стоимъ, и вѣтеръ помчитъ сѣрый пепель, и будетъ кружить вихри пепла, и будетъ лѣпить изъ нихъ призраковъ. Молитва до кроваваго пота поддержитъ насъ въ часы горѣній, разрушитъ чары красныхъ ужасовъ. „Лучше мнѣ умереть, нежели оставить молитву“, говоритъ пророкъ Даниилъ. Только молитвой Даниилъ угашалъ жгучесть „пещи огненной“.

„И показавъ онъ мнѣ Иисуса великаго іерея“, говоритъ Захарія „и сатану, стоящаго по правую руку его, чтобы противодѣйствовать... И сказалъ Господь сатанѣ: Господь да запретитъ тебѣ сатана, да запретитъ тебѣ Господь, избравшій Іерусалимъ! Не головня ли Онъ, исторгнутая отъ огня“. Здѣсь Спаситель названъ „головней исторгнутой изъ огня“. Нужно было воплотиться Христу въ средоточіе борьбы и ужаса, сойти во адъ, въ красное, чтобы преодолѣвъ борьбу, оставить путь для всѣхъ свободнымъ. Онъ побѣдилъ. Искушеніе всплыло на поверхность, какъ огненная рѣка, которая, по словамъ Даниила, „выходила и проходила передъ нимъ“.

Въ красномъ цвѣтѣ сосредоточены ужасъ огня и терніи страданій. Понятна теософская двойственность красного. Не въ силу ли предшествующей страданію стадіи горѣнія Сатаниилъ у богомиловъ—старшій братъ Христа. Не потому ли у манихеевъ два Бога Творца: добрый и злой. Все это не заполнитъ бездны между добромъ и зломъ. Христосъ останется Противопоставленнымъ

сатанѣ, какъ въ видѣніи пророка Захаріи.

Кровь не даромъ обагрила Его. Въ багряницу не даромъ облекли Его... Сія чаша есть новый завѣтъ въ Его крови, которую Онъ за насъ пролилъ. Не даромъ ужасался и тосковалъ Онъ, обращая горестный взоръ свой на дремлющихъ учениковъ: „Душа моя скорбитъ смертельно“... И потъ Его, какъ кровь, орошалъ землю. „И одѣли Его въ багряницу, и сплетши терновый вѣнецъ, возложили на Него“... „Былъ часъ третій, и распяли Его“... „Въ шестомъ же часу настала тьма“... Въ девятомъ часу возопилъ Иисусъ громкимъ голосомъ: „Элои, элои! Ламма Савахѳани“ (отъ Марка). Крестъ, воздвигнутый на Голгоѣ, навсегда раздѣляетъ ужасъ отъ грядущей радости второго пришествія, когда Онъ придетъ съ небесными воинствами, облеченными въ „висонъ бѣлый“.

Крестъ, воздвигнутый на Голгоѣ, весь покрытый каплями крови — и вѣнецъ ароматныхъ, нетлѣнныхъ и бѣлыхъ мистическихъ розъ! Первые вѣка христіанства обагрены кровью. Вершины христіанства бѣлы, какъ снѣгъ. Историческая эволюція церкви есть процессъ „убѣленія ризъ кровью Агнца“. Для нашей церкви, еще не побѣдившей, но уже предвкушающей сладость побѣды, характерны всѣ оттѣнки заревой розовой мечтательности. Розовый цвѣтъ соединяетъ красный съ бѣлымъ. Если теософское опредѣленіе красного цвѣта, какъ относительности, борьбы между Богомъ и діаволомъ, сопоставить съ розовымъ, въ которомъ уже явно выражено преобладаніе благаго свѣточа челоѣкобожества, то слѣдующая стадія душевнаго переживанія окрашена въ розовый цвѣтъ.

Приближаясь къ безусловному, по-

знаемъ идеи. Познаніе идеи животворить. Въ искусствѣ идеи—источникъ наслажденія. Когда онѣ превращаются въ знамена, влекущія къ цѣлямъ, искусство соприкасается съ религіей. Тогда идеи вдвойнѣ животворны. Восхожденіе къ высшимъ сферамъ бытія требуетъ внутренняго знанія путей. Нашъ вѣрный проводникъ—молитва. Она проясняетъ тусклое стекло, черезъ которое мы видимъ. Ослѣпительный блескъ идеальнаго послѣ пролитыхъ слезъ. Молитва условіе, переплавляющее скорбь въ радость. Восторгъ есть радость объ идеяхъ. Молитва безпрепятственно приводитъ въ душу идеи.

Въ молитвѣ вершины искусства соединяются съ мистикой. Соединеніе мистики съ искусствомъ есть теургія.

Теургія преображаетъ отношеніе къ идеямъ. Идеи—проявленіе божественныхъ началъ. Въ религіи Зороастра идеи отождествлены съ девятью ангельскими началами. Въ христіанствѣ девять ангельскихъ чиновъ. Въ искусствѣ идея пассивна. Въ религіи она вліяетъ. Созерцаніе идеи въ искусствѣ освобождаетъ отъ страданія. Теургическое созиданіе приобщаетъ любви. Мы начинаемъ любить явленіе, видя его идею. Мы начинаемъ любить міръ идеальной любовью. Чувства по Шопенгауэру суть дѣятельности воли. Любовь—глубочайшее чувство: глубочайшая дѣятельность воли. „Если я роздалъ все имѣніе мое и отдалъ тѣло мое на сожженіе, а любви не имѣю, нѣтъ мнѣ въ томъ никакой пользы“. Вотъ что сказалъ Павелъ. Разнообразны явленія любви. Часто зерно любви затуманено. Часто потерянъ для насъ ея истинный корень.

Если дѣятельность любви должна быть организована разсудкомъ, то вопросъ о степени вліянія разсудка на

чувство переноситъ опредѣленіе любви въ область философіи. Но гармонія между разсудкомъ и чувствомъ не достигается компромиссами между тѣмъ и другимъ. Непосредственное вліяніе чувства на разсудокъ по Канту является источникомъ заблужденій. Преодоленіе разсудка и чувства объединеніемъ ихъ неизмѣнно расширяетъ формы познанія до самыхъ общихъ. Мудрость наиболѣе широкая ступень познанія. Символизмъ—область ея примѣненія. Всякая любовь отсюда — прообразовательна, символична. Символическая любовь переноситъ въ Вѣчность точку ея приложенія. Воплощеніе вѣчности есть теургія. Любовь теургична по существу. Слѣдовательно въ ней мистика. Организація любви религіозна.

Если же истинная любовь заключается въ неорганизованномъ чувствѣ, новый рядъ вопросовъ имѣетъ мѣсто: каково отношеніе любви къ нравственности, къ праву, къ закону? Нѣкоторые социологи говорятъ, что нравственность есть оцѣнка интересовъ. Право, по Соловьеву, есть исторически подвижное опредѣленіе принудительнаго равновѣсія двухъ нравственныхъ интересовъ—личной свободы и общаго блага. Право сводится къ нравственности. Законъ же—эта обязательная организація права—подчиненъ благодати. Благодать—проявленіе божественной любви. Любовь, отблескъ сущности, будучи внѣ права, нравственности, закона не должна упразднить ни того, ни другого, ни третьяго. Ея существенными признаками для этого должны быть всеобщность и постоянство—Вѣчность. Въ теургіи воплощеніе Вѣчности. Поэтому непосредственное чувство любви должно заключать въ себѣ нѣчто религіозное. Она идеальна. Идеи могутъ быть родо-

выя и видовыя. Идеи міра и чело-  
вѣчества наиболѣе всеобщи. Въ видимомъ  
мірѣ чело-вѣкъ образуетъ высшую сту-  
пень объективациі изъ доступныхъ на-  
шему наблюденію. Въ немъ сущность  
мірового процесса. Идея міра и чело-  
вѣчества условно совпадаютъ для насъ.  
Идею міра можно называть душой міра.  
Душа міра, Софія по Соловьеву, есть  
совершенное чело-вѣчество, вѣчно за-  
ключающееся въ божественномъ суще-  
ствѣ Христа. Тутъ мистическая сущ-  
ность церкви совмѣщена съ образомъ  
вѣчной женственности, невѣсты Агнца.  
Тутъ Альфа и Омега истинной любви.  
Отношеніе Христа къ церкви—жениха  
къ невѣстѣ—бездонно-міровой символъ.  
Всякую окончательную любовь этотъ  
символъ высвѣчиваетъ. Всякая любовь  
есть символъ этого символа. Всякій сим-  
волъ въ послѣдней широтѣ явить об-  
разъ Жениха и Невѣсты. Звукъ трубы  
призывно раздастся изъ „Новаго Ге-  
русалима“. Вершины всякаго симво-  
ла—о послѣднемъ, о концѣ всего. Окон-  
чательная сущность послѣдняго симво-  
ла откроется тамъ, гдѣ будетъ „Новая  
земля и новое небо“... Откровеніе  
Іоанна оканчивается голосомъ невѣсты:  
„Приди“. Вершины всѣхъ формъ люб-  
ви, сближенные общимъ символомъ,  
приготавливаютъ насъ къ Вѣчности. То,  
что начнется здѣсь, окончится тамъ.

Отблескъ религіозной любви падаетъ  
на бракъ. Въ бракѣ, по словамъ Со-  
ловьева, мы имѣемъ образъ, освящен-  
ный словомъ Божіимъ, обозначающій  
союзъ Христа съ Церковью. „Главное  
значеніе (въ бракѣ)“, говоритъ Соло-  
вьевъ, „принадлежитъ паѳосу любви.  
Свое природное дополненіе—женщину  
чело-вѣкъ видитъ здѣсь не такъ, какъ  
она является внѣшнему наблюденію...  
а прозрѣваетъ въ ея идею, въ то,

чѣмъ она первоначально назначена быть,  
чѣмъ ее отъ вѣка видѣлъ Богъ и чѣмъ  
она должна окончательдо стать... Она  
утверждается... какъ самоцѣль... какъ,  
существо, способное... къ „о б о ж е н і ю“  
(Оправданіе добра). Пока бракъ не до-  
стигъ совершенства, преемственность  
поколѣній должна выполнить эту задачу.

„Жажда въ созидающемъ, стрѣла и  
стремленіе къ сверхъ-чело-вѣку; говори,  
братъ мой, таково-ли твое стремленіе  
къ браку“ (Ницше).

Постепенное осуществленіе брака  
есть задача всемірно-историческая. Его  
смыслъ только мистическій. Всякое иное  
отношеніе къ браку формально. Такое  
отношеніе есть источникъ неосуше-  
ствившихся надеждъ.

„Пусть я кого-нибудь люблю, лю-  
бовь не красить жизнь мою“—говоритъ  
Лермонтовъ. Но здѣсь наибольшее при-  
ближеніе къ сущности. Разочарован-  
ность или даже пресыщенность  
любви есть источникъ вѣчнаго исканія  
Вѣчная любовь—вотъ зоря во всю дол-  
гую ночь.

*Никто не сблизитъ больше насъ.  
Никто мнѣ не отдастъ локой  
И сердце шелкетъ мнѣ подчасъ  
Я не могу любить другой.*

*(Лермонтовъ).*

Безъ мученическаго вѣнца не за-  
сіяетъ вѣчная звѣздность любви. Только  
тогда, когда острые шипы разорвутъ  
страдающее чело и сброшенный вѣнецъ  
пунцовыхъ звѣздъ озаритъ небо ро-  
зами,—разбитый о плотину потокъ  
оргазма повысится, мерцающая звѣздность.  
Память освободитъ дорогой образъ отъ  
черты случайнаго, конечнаго, углубитъ  
его до символа, а душа скажетъ:

*Я не могу любить другой.*

„Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю“, говоритъ Лермонтовъ. Но кого же, кого?

*Люблю мечты моей созданье  
Съ глазами полными лазурнаго огня.*

*(Лермонтовъ).*

Вотъ кого любить Лермонтовъ.

Если бы Лермонтовъ до конца со-зналъ взаимодействіе между реальнымъ созданіемъ мечты „съ глазами полными лазурнаго огня“ и его символомъ, которымъ становится любимое существо, онъ сумѣлъ бы перейти черту, отдѣляющую земную любовь отъ вѣчной.

Бракъ и романтическая любовь только тогда принимаютъ надлежащій отбѣнокъ, когда являются символами иныхъ, еще недостигнутыхъ, сверхъ-человѣческихъ отношеній.

„Что лилія между тернами, то возлюбленная моя между дѣвцами“. Такъ говоритъ въ „Пѣсни Пѣсней“ Женихъ Церкви, Невѣстѣ своей.

„Что яблонь между лѣсными деревьями, то возлюбленный мой между юношами“, такъ отвѣчаетъ Невѣста Церкви Жениху.

Разсѣяны намъ угрожавшіе искусы и ласковая зоря брежжитъ розовыми янтарями. И вотъ ищешь улыбку блѣдно-матовыхъ жемчуговъ, зоревыхъ. Утреннія звѣзды такъ и блещутъ, впиваясь въ кусокъ зоревого перламутра—вѣчные брилліанты небесъ. Терновый вѣнецъ весь въ крови брошенъ къ ногамъ. Гдѣ-то внизу, вдали клубясь, догораетъ „злое пламя земнаго огня“, какъ говоритъ Соловьевъ—догораетъ, свиваясь въ багровыя кольца: это красный драконъ, побѣжденный, уползаетъ въ безвременье; а еще ниже,

гдѣ-то въ туманныхъ пропастяхъ, глухое рокотанье отступившаго хаоса. Пока еще нѣтъ полной побѣды, неожиданный смерчъ пыли, поднявшись изъ безднѣ, еще можетъ замутиль свѣтъ; тогда всемірный огонь опять подожжетъ пространства; опять оборвется голосъ невѣсты—и опять, и опять понесется въ бунтующемъ хаосѣ образъ великой блудницы на багряномъ звѣрѣ. Тернии еще вопьются въ чело.

Но видъ отхлынувшихъ бурь и зоревая ласка кротко успокаиваютъ бѣдное сердце.

Образъ мистической церкви на границахъ временъ и пространствъ. Таютъ пространства. Начало временъ сливается съ концомъ. Образуется кругъ времени—„кольцо колець—кольцо возврата“. Оттуда брызжетъ солнечность. Вотъ Она явитъ образъ свой; но подымается голосъ изъ безвременья: „Ей, граду скоро“.

Христосъ—воплощенная Вѣчность—нашъ полновременный день. Приканчивается символизмъ, начинается воплощеніе. Мы должны воплощать Христа, какъ и Христосъ воплотился. Второй реальностью реальна наша любовь ко Христу. „Истинно, истинно говорю вамъ: Я есмь хлѣбъ Жизни... Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь во Мнѣ пребываетъ и Я въ немъ“. Это и есть во-площеніе, те-ургія, такъ что мы, дѣти, имѣемъ надежду стать такими, какъ Онъ. И какъ въ преображеніи любовью постигаемъ Его, такъ во всякую преображенную любовь воплощается Онъ. Ницшевскій „день великаго полудня“, въ который явится сверхъ-человѣкъ, былъ и опять будетъ, вторично возвратится: „Вскорѣ вы не увидите Меня, и опять вскорѣ увидите Меня... И радости вашей никто не отни-

метъ у васъ; и въ тотъ день вы не спросите меня ни о чемъ... Сіе сказалъ Я вамъ, чтобы вы имѣли во Мнѣ миръ. Въ мѣрѣ будете имѣть скорбь; но мужайтесь: Я побѣдилъ мѣръ“ (Іоаннъ). „Я вамъ сказываю, братіе: время уже коротко, такъ что имѣющіе женъ должны быть какъ не имѣющіе; и плачущіе, какъ не плачущіе... Ибо проходитъ образъ міра сего“ (Павелъ).

Пройти сквозь формы „міра сего“, уйти туда, гдѣ всѣ безумны во Христѣ—вотъ нашъ путь. „Душа проснулась, это неспроста“, говоритъ Метерлинкъ. Мы на перевалѣ и еще не знаемъ, куда можемъ притти. Конецъ формамъ воспріятія ведетъ къ инымъ формамъ. Міръ сей возникаетъ въ формахъ времени и пространства. Переменная этихъ формъ для нашего непрерывнаго сознанія изгладитъ образъ „міра сего“. Тогда будетъ новая земля и новое небо. Это и будетъ концомъ міра сего. Безконечная линия причинности, развернутая во времени, съ устраненіемъ времени обращается въ точку. Стоящее въ началѣ и концѣ—одно „Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конецъ, Который есть, и былъ, и грядетъ, Вседержитель“ (Откровеніе). Кто изъ насъ войдетъ за время, тотъ скажетъ со Христомъ: „Я уже не въ мѣрѣ, но они въ мѣрѣ, а я къ Тебѣ иду, Отче святой“... Мы посмотримъ на него. И лазурноясный взоръ ничего не укажетъ. И вотъ изъ двухъ разныхъ міровъ посмотримъ другъ на друга. Въ концѣ міра полнота утверждения, окончательность образовъ. И обратно: въ періоды пробужденія души образы, встающіе передъ нами, должны принять окончательныя формы. Проснулась душа, и опять заговорили о концѣ. Мы не знаемъ, будетъ ли нашъ перевалъ началомъ

конца или прообразомъ его. Но въ первыхъ снѣжинкахъ, закружившихся надъ нами, мы прочли священные обѣты. Въ голосѣ первой вьюги слышали радостный зовъ: „Возвращается, опять возвращается“... Часто застигнутые въ одинокихъ переулкахъ, глубокою полночью останавливались передъ пунцовымъ огонькомъ умиряющей бури лампадки, моля о томъ, чтобы вся жизнь озарилась пунцовымъ. Пунцовый трепетъ на серебряноснѣжной пыли, темносинее небо съ золотомъ—ясное... И неслись, и неслись грустно-милая сказки вьюги и чей-то голосъ подымался изъ безвременья „Я увижу васъ опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отниметъ у васъ... Вы не спросите Меня ни о чемъ“ (Іоаннъ). Окончателность христіанства, новозавѣтность мысли о концѣ, неожиданное облегченіе и радость, которая неизмѣнно содержится въ этой мысли—вотъ свѣтъ запавшій намъ въ душу. Откуда намъ сіе? За что?

Когда разлетятся остатки пыли и блеснетъ воздушная бѣлизна... и вотъ сейчасъ же засквозитъ голубымъ. И уже среди бѣла дня мы научимся узнавать нашу радость, взирая на яснолазурно-грустящее радостью небо. Бѣлое сіяніе на виѣ-цвѣтномъ фонѣ міровыхъ безднъ сквозитъ голубымъ. Таковъ оптический законъ: это бываетъ всегда, когда бѣлое подстилаетъ безцвѣтная бездна. И вотъ, глядя въ лазурь, мы видимъ, что невозможный видъ безднъ міра занавѣшенъ воздушно-бѣлой фатой. Только пристальный взоръ обнаруживаетъ бездну, открывающуюся въ прозрачномъ океанѣ блага воздуха, какъ подстилающій этотъ океанъ фонъ, какъ дно—бездонное дно—какъ бездну. Соединеніе безднъ міра, находящейся

тамъ, гдѣ нѣтъ ни времени, ни условій, съ воздушно-бѣлой прозрачностью, какъ съ символомъ идеальнаго человѣчества—это соединеніе открывается намъ въ соединяющемъ цвѣтѣ неба—этомъ символѣ богочеловѣчества, двуединства. „Принимая Меня, принимаете Отца.. Я въ Отцѣ и Отецъ во мнѣ“, говоритъ Христосъ. Воздушная бѣлизна, сквозящая бездной міра—вотъ что такое небо. „Кто познаетъ природу вещей и свою собственную, тотъ познаетъ, что такое небо“, говоритъ Конфуцій, „потому что оно именно и есть внутренняя сущность“.

Исходя изъ цвѣтныхъ символовъ, мы въ состояніи возстановить образъ побѣдившаго міръ. Пусть этотъ образъ туманенъ, мы вѣримъ, что разсѣется туманъ. Его лицо должно быть бѣло, какъ снѣгъ. Глаза его—два пролета въ небо — удивленно-бездонные, голубые. Какъ разливающейся медь — восторгъ святыхъ о небѣ—его золотые, густые

волосы. Но печаль праведниковъ о мірѣ—этотъ налетъ восковой на лицѣ. Кровавый пурпуръ—уста его, какъ тотъ пурпуръ, что замыкалъ линію цвѣтовъ въ кругъ, какъ тотъ пурпуръ, который огнемъ истребитъ міры; уста его пурпурный огонь. То здѣсь, то тамъ мы въ состояніи подсмотрѣть на лицахъ окружающихъ ту или другую черту святости. То лазурно-бездонныя очи удивятъ насъ, и мы, остановимся передъ ними, какъ передъ пропастями, то снѣговый оттѣнокъ чела напомнитъ намъ облако затуманившее лазурь. Блеснетъ Вѣчность на дѣтски чистомъ лицѣ. Блеснетъ и погаснетъ, и не узнаютъ грустные дѣти, печать какого имени у нихъ на челѣ. Зная отблески Вѣчнаго, мы вѣримъ, что истина не покинетъ насъ, что она—съ нами. Съ нами любовь. Любя, побѣдимъ. Лучезарность съ нами. О еслибъ, просіявъ, мы вознеслись. Съ нами покой. И счастье съ нами.

*Андрей Бѣлый.*

